

РИЛЬКЕ НАВСЕГДА, ИЛИ ПОТАЙНАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

В немецком языке молодая женщина
не имеет пола, а репа — имеет.

Марк Твен

Любовь Рильке к России стоила моей семье ее немецкой составляющей. Побывав у петербургского Юргенсона — Иосифа Ивановича, — Рильке записал в дневнике: «Петербург не Москва. Здесь Германия обрела голос» (запись 1899 года). От него не укрылась трещина в складках семейного ландшафта, о которой молчат энциклопедии. В отличие от брата, Иосиф Иванович остался немцем. Я даже предполагаю, что сделался им больше, чем был в своем родном Ревеле, тогда как Петр Иванович вконец обрусел. Болотные испарения столицы благоприятствуют сохранению немецкого духа, они даже ведут к его расцвету. Петербург — немецкий, Москва — русская, это же очевидно.

Рильке старается стряхнуть с себя «ветхого человека» — то есть немца. «Я все больше удаляюсь от всего немецкого и, как только выучу язык, почувствую себя настоящим русским». Рильке и Россия! Он идет в церковь, народная вера отворяет перед ним врата вечности — это происходит не в малахитовых стенах Исаакиевского собора, под стометровым золоченым куполом, а в неказистой часо-

венке... «Такое возможно только в России!» — пишет он.

Россия не просто носит в себе Бога, она убаюкивает Его, непрестанно крестясь и кланяясь на образе. Так же и Рильке: поклоняясь России, убаюкивает в себе Германию, а та все не засыпает. «Я люблю немецкий язык, но не люблю немцев». С немцами ему не по пути, своего черного бога, немецкий язык, он пытается убаюкать, как плачущее дитя, — причитаниями, позаимствованными у русских крестьянок. В одном из стихотворений, написанных по-русски, он жалуется, что «не родился простым мужиком, ведь тогда бы жил с большим просторным лицом и в чертах не доносил бы того, что думать трудно и чего нельзя сказать...». Этим объясняет он свою любовь к русской народной поэзии.

Помню, я еще молодухой была,
Наша армия в поход великий шла.
Вечерело, я стояла у ворот.
А по улице все конница идет.

Рильке пленила эта песня. Он уговаривает себя, что особенная, в сравнении с другими народами, духовность русских — его собственное открытие, к которому он пришел помимо Толстого и символистов, хотя и в Ясной Поляне и в московских салонах ему об этом все уши прожужжали. А еще он внушил себе, что здесь, в России, он наконец свободен от того, «что думать трудно и сказать нельзя». Надо только выучить русский язык — и станешь таким же богоносцем, как все кругом. Поэтому он старательно заучивает слова песни «Помню, я еще молодухой была». Священная история в шести куплетах:

Вдруг подъехал ко мне барин молодой,
Говорит: напой, красавица, водой.

Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился и меня поцеловал,

— это Ревекка у колодца. А дальше *pietà*, русская *pietà*:

А потом, когда я вдовушкой была,
Пятерых я дочек замуж отдала,
К нам приехал на квартиру генерал.
Весь изранен, и так жалобно стонал.

Спустя годы Рильке будет вспоминать «одну из маленьких деревенских Богоматерей, в которых девственность столь величаво сочетается с женственностью». Рильке сказал себе — по-русски: «Ничто внешнее не может быть полезно для России», хотя в «жестокое романсе» как раз трудно не расслышать отголоски внешнего — немецких стихов Клаудиуса («Дай руку мне, прелестное дитя» и т.п.). Рильке просит Эмилию Грасс — урожденную Юргенсон, дочь Иосифа Ивановича — узнать полный текст полюбившейся ему песни. «В ней — некий свет, предназначенный для меня, но мне еще незнакомый, свет, который есть только в России».

Пригляделась, встрепенулась душой:
Это тот же прежний барин молодой.
Та же удаль, тот же блеск в его глазах,
Только много седины в его кудрях.

Бывая у Грассов... но прежде поделюсь одним наблюдением: только своих знакомых из числа женщин он «обременял» подобными поручениями. Письма его полны ими: «Не могли бы Вы мне написать, нет ли в последнем номере “Мира искусства” или в другом журнале чего-нибудь интересного для меня, что я мог бы заказать?» — спрашивает он Елену Воронину — к которой его прибывает течением после очередной размолвки с Лу Са-

леме*. Воронина дарит ему свой гербарий. В нем причудливые цветы и листья кажутся повторением тех, что мы видим на лампах и в зеркалах: бронза ожила, чтоб снова умереть. Названия им она придумывала сама. «Нелегкая задача — дать имя чудному созданию, которому оно послужит одеянием, подыскать соответствия всем пестикам и тычинкам моих подопечных, — пишет она. — Лес воображаемых значений оказался куда более дремучим, чем тот, в котором я собирала эти цветы. Слова окружали меня ледяными горами, встававшими из темных вод — о, каких темных!»

Но поэты порой на удивление прозаичны. Проза жизни состояла в том, что гербарий своим происхождением обязан отнюдь не прогулкам Ворониной по зачарованному лесу, а банальным букетам, которые, отстояв свое в вазах, потом засушивались между страницами. Рильке разочаровался в своей Медее. Воронина горевала сильно, но не долго. Вскоре в Берлине ее утешил фон Пазенов, в ту пору начинающий автор. По мнению многих, это ее он воспел в своей анахронической «Аните»**. Фривольность и патетика у фон Пазенова нераздельны, как орхидеи и мрамор его безвременного надгробья, где они высечены. Крушение Европы уже смертельно больной фон Пазенов представил как гербарий из слов, затеяв игру в прятки с читателем, из которой был обречен выйти победителем — нет укрытия надежней смерти. Рильке никогда не отрицал того, что идею гербария фон Пазенову подарил он — возможно, в придачу к русской возлюбленной

*Лу Саломе — муза Ницше, Рильке, друг Фрейда; писательница, тип интеллектуальной роковой женщины рубежа веков. Елена Воронина — возлюбленная Рильке, умерла в эмиграции.

**Первообразом загадочной Аниты послужила Анита Принц (см. биографическую справку ниже).

(вспомним, что другая русская осветит смертный час самого Рильке вечно живыми цветами своего имени*. Бывая в доме в Груссов, близких к «мири-скусникам», петербургским символистам, преобразившим цветы в камни, один век в другой, мужчин в женщин, людей в животных, — в этом гнездышке русского декаданса, Рильке спрашивал себя: но почему не юноша? Сказать «прелестное дитя» смерть может и юноше: на картине Ганса Грина «противная курноска» — так называют ее русские — выглядывает из-за плеча юноши, который этого не замечает. В стихотворении Клаудиуса ничто не указывает на женский род: «девушка» по-немецки — «оно», das Mädchen. Мужские костюмы русских балетов легко превращаются в парижскую женскую моду. Рильке, которого мать в детстве обряжала девочкой и смотрела, как он играет в куклы, не нуждался ни в чьем руководстве, чтобы понять: «Gib deine Hand, du schön und zart gebild!»** — с этими словами Смерть обращается к юноше. Что Молодушка была одной из «маленьких деревенских Богоматерей», то причиной этому — замороженность Россией.

Иначе в той, что напоила «барина молодого», он узнал бы Ангела Смерти. В песне поется, что Молодушка еще явится умирающему генералу («весь изранен, и так жалобно стонал»), тогда у колодца была лишь отсрочка, за время которой, впрочем, «пятерых я дочек замуж отдала», одна небось от этого генерала — не в обиду Рильке будь сказано.

Его последняя книга, «Vergers»***, написана по-французски. Устав от собственного совершенства в немецком — «человеческом» — языке, Рильке,

*Имеется в виду Марина Цветаева.

**«Дай руку мне, прелестное дитя» (нем.).

***«Фруктовые сады» (фр.).

по выражению Цветаевой, «схватился за французский». Когда пришла весть о его смерти, Цветаева сказала: «Жажда французского оказалась жаждой тусветного. Книжкой “Vergers” он проговорился на ангельском языке». Проговориться — выдать тайну, а какая может быть тайна, если ее знает каждый: красота — это ужас в пределах выносимого. Для Рильке, война, собравшегося в великий поход — искать «великое Быть Может»*, — французский язык и был той самой девушкой у колодца.

Но прежде чем окончательно отказаться от намерения стать русским через овладение русской речью, Рильке еще раз побывает в России.

Петербург, 1900 год. Атеисты — те, кто не верит в существование Петербурга 1900 года. Это — икона в окладе серебряного века, зацелована, закавычена. Дамы, между прочим, еще имели обыкновенные протягивать поэтам альбомы. Эмилии Грасс в альбом Рильке написал: «Дверь в дверь, две капли, которым плачется одним дождем... Непроизносимая родина, твои глаза открыты». Это и ангел — и тот, кого он укрыл своим крылом: у обоих обращенные в одну точку незрячие глаза с глубоко выдолбленными зрачками. Для Рильке — олицетворенные Германия и Россия. Скульптура на могиле Александра Юргенсона, брата Эмилии, похороненного на Смоленском кладбище. Самоубийца оставил предсмертную записку всего из двух слов, почему-то по-немецки: «Ich sterbe»**. Узнав об этом, Рильке прошептал: «Есть в жизни такая страшная минута, когда начинаешь говорить по-немецки». Для Юргенсонов этот шепот прозвучал оглушительней любого крика. С того времени их тайным

* Последние слова Рабле: «Иду искать великое Быть Может».

** «Я умираю» (нем.). Слова, с которыми умер Чехов.